

Шутка

Автор:

Доменико Старноне

Шутка

Доменико Старноне

Пожилой маститый художник-иллюстратор соглашается по просьбе дочери присмотреть за внуком на время их с мужем участия в научной конференции. Ему за семьдесят, он много лет прожил в одиночестве, целиком посвятив себя работе. Четырехлетний внук, задиристый непоседа с острым языком, растет маленьким диктатором. Они и виделись-то всего два раза, а теперь вынуждены будут провести вместе целых три дня. В разыгравшемся противостоянии уходящего прошлого с наступающим будущим – со стычками, временными перемириями и не всегда смешными розыгрышами – как в зеркале отражается жизнь во всем ее многообразии.

В короткой, но отличающейся высоким эмоциональным накалом истории Доменико Старноне продолжает свое скупулезное исследование феномена семейной жизни – с сочувствием и иронией, заставляющей читателя улыбаться даже когда речь идет о темных сторонах человеческой натуры.

Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале (<https://journal.litres.ru/o-slozhnostyah-semejnoj-zhizni-bez-prikas-proza-domeniko-starnone/>)

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Доменико Старноне

Шутка

Domenico Starnone

SCHERZETTO

Copyright © 2016 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Published in the Russian language by arrangement with Giulio Einaudi editore s.p.a.

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2019

* * *

Глава первая

1

Как-то вечером Бетта позвонила мне и более нервным тоном, чем обычно, стала выяснять, соглашусь ли я побыть с внуком, пока они с мужем съезжают на конгресс математиков в Кальяри. В то время я уже два десятка лет прожил в Милане, и перспектива поездки в Неаполь, в старую квартиру, которую я унаследовал от родителей и в которой до замужества жила моя дочь, не вызывала у меня энтузиазма. Мне было за семьдесят, я потерял жену много лет назад, и за эти годы отвык жить с кем-то под одной крышей, мне было удобно одному спать в спальне и пользоваться ванной. К тому же за несколько недель до этого разговора мне пришлось сделать несложную операцию, от которой, как я заподозрил уже в клинике, было больше вреда, чем пользы. Доктора заглядывали ко мне в палату и утром и вечером, чтобы заверить меня, что все прошло нормально, но гемоглобин так и не поднялся и ферритин оставлял желать лучшего; а однажды я увидел, как из стены напротив высунулись две маленькие, белые от штукатурки головки и уставились на меня. После этого мне срочно сделали переливание крови, гемоглобин немного повысился, и в итоге

меня отправили домой. Но выздоравливал я медленно и трудно. По утрам был настолько вялым, что приходилось собирать все силы, чтобы встать с постели, щипать себя за ляжки, вытягивать и наклонять верхнюю часть туловища, словно крышку чемодана, напрягать мышцы верхних и нижних конечностей так, что перехватывало дыхание; и только когда боль в спине немного утихала, мне удавалось стать на ноги, но очень осторожно, сначала один за другим разжав пальцы, сжимавшие ляжки, а затем уронив руки вдоль тела с хриплым стоном, который не стихал, пока я не принимал вертикальное положение. Вот почему, услышав просьбу Бетты, я ответил не раздумывая:

– Для тебя так важно присутствовать на этом конгрессе?

– Это не просто присутствие, папа: я должна произнести вступительное слово, а Саверио – во второй день после обеда прочитать доклад.

– Сколько времени вас не будет дома?

– С двадцатого по двадцать третье ноября.

– То есть мне придется бессменно сидеть с ребенком четыре дня?

– Утром будет приходить Салли, убирать и готовить вам еду. А вообще-то Марио вполне самостоятельный.

– В три года ни один ребенок не бывает самостоятельным.

– Марио уже четыре.

– И в четыре тоже. Но дело не в этом: у меня срочная работа, которую пора заканчивать, а я еще и не начинал.

– Что за работа?

– Полосные иллюстрации к рассказу Генри Джеймса.

– О чем этот рассказ?

– Один человек возвращается в свой старый дом в Нью-Йорке и обнаруживает там призрак – то есть самого себя, каким он стал бы, если бы когда-то выбрал карьеру бизнесмена.

– Неужели тебе нужно много времени, чтобы нарисовать картинки к такому сюжету? До двадцатого еще почти месяц, ты успеешь. А не успеешь – возьмешь работу с собой в Неаполь. Марио не будет мешать, он к этому приучен.

– В последний раз он все время хотел на ручки.

– Последний раз был два года назад.

Она стала укорять меня, говорила, что я нерадивый отец и нерадивый дед. А я отвечал ей ласковым, умиротворяющим тоном и уверял, что буду сидеть с ребенком столько времени, сколько потребуется. Она спросила, когда я думаю поехать в Неаполь, и я ответил ей, недостаточно трезво оценив свои возможности. Поскольку я почувствовал, что моя дочь более несчастна, чем обычно; поскольку за все время, пока я был в больнице, она звонила мне максимум три или четыре раза, поскольку, как мне показалось, этим своим равнодушием она хотела наказать меня за мое собственное равнодушие, я обещал приехать в Неаполь за неделю до конгресса, так, чтобы малыш успел привыкнуть к моему обществу. И с наигранным энтузиазмом добавил, что мне ужасно хочется немного побыть дедушкой, что она может с легким сердцем ехать на конгресс и что нам с Марио будет очень весело.

Но, как всегда, я не смог сдержать обещание. Молодой издатель, на которого я работал, все время теребил меня, хотел выяснить, насколько я продвинулся в работе. А я из-за моего затянувшегося выздоровления мало что успел сделать, и сейчас попытался в спешке доделать две или три иллюстрации. Но вскоре после этого у меня утром опять случилось кровотечение. Я бегом бросился к врачу, который сказал, что все в порядке, но тем не менее велел через неделю прийти к нему опять. Так я занимался то тем, то этим и в итоге отправился в Неаполь только 18 ноября, предварительно послав издателю две иллюстрации, которые еще не успел окончательно доработать. Поехал на вокзал, ощущая на душе недовольство и скуку, с наспех собранным чемоданом, где не было даже подарка для Марио, если не считать двух сборников сказок с моими иллюстрациями, нарисованными много лет назад.

Поездка была неприятной – ее портили слабость, от которой я весь покрывался потом, и желание вернуться назад, в Милан. Небо нахмурилось, на душе было беспокойно. Поезд мчался сквозь порывы ветра, по окну хлестали струи дождя, от которых стекло в окне становилось мутным. Время от времени на меня нападал страх, что из-за бури вагоны сойдут с рельсов, и я подумал: чем больше стареешь, тем сильнее цепляешься за жизнь. Но сойдя с поезда в Неаполе, я, несмотря на холод и дождь, почувствовал себя лучше. Вышел из здания вокзала и через несколько минут оказался перед хорошо знакомым домом на углу.

2

Бетта встретила меня с теплотой и сердечностью, каких – в ее сорок лет, с ее повседневной нагрузкой – я от нее не ожидал. А еще меня поразило, насколько она была озабочена моим состоянием, ужасалась, какой я бледный, как я исхудал, попросила прощения за то, что ни разу не навестила меня в больнице. Затем с некоторой тревогой спросила, что говорят врачи и что показывают анализы, и я подумал: она проверяет, не опасно ли оставлять на меня ребенка. Я успокоил ее и, чтобы сменить тему, стал осыпать комплиментами, притом непомерно преувеличенными – к этой тактике я прибегал с тех пор, когда она была еще девочкой.

– Какая ты красивая.

– Да ничего подобного.

– Ты красивее любой кинозвезды.

– Я толстая, старая психопатка.

– Шутишь? Я в жизни не видел более привлекательной женщины. Ведь характер – он только снаружи, как кора у дерева: если с тебя снять эту кору, откроется тонкое, одухотворенное существо – твоя мать была такой же.

Саверио пошел за малышом в детский сад, через минуту-другую они должны были вернуться. Я надеялся, что Бетта предложит мне пойти в мою комнату и немного полежать. В тех редких случаях, когда мне приходилось приезжать в Неаполь, я ночевал в большой комнате рядом с ванной; там был маленький

балкон, напоминавший по форме трамплин. Я вырос в этой комнате вместе с братьями, и она была единственным местом в квартире, которое не вызывало у меня ненависти. Я с удовольствием растянулся бы здесь на кровати хотя бы на несколько минут. Но Бетта завела меня в кухню, не дав поставить вещи – чемодан и матерчатую сумку, – и сразу начала жаловаться на все подряд: на работу в университете, на Марио, на Саверио, который сваливал на нее все домашние хлопоты и заботу о ребенке, и на другие невыносимые трудности.

– Папа, – сказала она в какой-то момент, повысив голос почти до крика, – мне правда все опротивело.

Она стояла у мойки и мыла овощи, но, произнося эту фразу, повернулась ко мне каким-то резким, неестественным движением. На несколько секунд мне показалось – раньше такого никогда не бывало, – что вместо нее я вижу комок боли, который мы с ее матерью по преступному легкомыслию произвели на свет четыре десятилетия назад. Хотя нет: Ада, моя жена, давно умерла и не могла нести ответственность за то, что происходило сейчас. Бетта была моей, только моей отделившейся клеткой, вполне самостоятельной и уже изрядно потрепанной жизнью. Или, во всяком случае, показалась мне такой на один краткий миг. Тут мы услышали, как открывается входная дверь. Моя дочь быстро взяла себя в руки, голосом, в котором радость смешивалась с отвращением, произнесла: «Вот и они», и на пороге появился Саверио – церемонный, широколицый коротышка Саверио, такой непохожий на высокую, изящную Бетту, – вместе с Марио, маленьким, темноволосым, как отец, с большими глазами на худеньком личике, в красной шапочке и синем пальтишке с голубыми пуговицами.

Мальчик на несколько секунд замер от волнения. Ничего общего с Беттой, думал я, весь в отца. И в то же время с некоторой тревогой осознал, что стою перед малышом как реальное воплощение сказочного персонажа по имени «дедушка» – как незнакомец, от которого он ждет неиссякаемого потока чудес, – и несколько театральным жестом распахнул объятия. Марио, иди ко мне, милый, иди ко мне, как ты вырос. Тут он бросился ко мне, и пришлось взять его на руки, говорить какие-то слова радости, хотя голос у меня охрип от непомерного усилия. Марио крепко обхватил меня за шею и впился поцелуем в щеку так, словно хотел ее продырявить.

– Не так сильно, ты его задушишь, – вмешался Саверио. Тут же подключилась и Бетта, приказав малышу оставить меня в покое:

– Дедушка никуда не убежит, в ближайшие дни вы будете все время вместе, он будет спать в твоей комнате.

Для меня это стало неприятной неожиданностью: я думал, мальчик спит в одной комнате с родителями. Забыл, как сам когда-то настаивал, чтобы кровать Бетты стояла в соседней комнате, хотя Ада глаз не могла сомкнуть от мысли, что не услышит плач малышки или не покормит ее вовремя. Я вспомнил об этом только сейчас, опуская Марио на пол, и едва не поморщился от досады, но сдержался – не хотелось, чтобы Марио видел меня таким. Затем я подошел к матерчатой дорожной сумке, стоявшей рядом с чемоданом, и достал из нее две тоненькие книжечки, которые собирался ему подарить.

– Смотри, что я тебе привез, – сказал я. Но стоило мне дотронуться до этих книг, как я пожалел, что не купил ему чего-нибудь более заманчивого, и испугался, что он будет разочарован. Однако Марио взял их в руки с явным интересом и, пробормотав очень прочувствованное «спасибо» – это было первое слово, которое я от него услышал, – принялся разглядывать обложки.

Саверио, который, должно быть, подумал, как и я, что подарок выбран неудачно, и наверняка собирался потом сказать Бетте: твой отец, как всегда, не угадал, – Саверио поспешил воскликнуть:

– Дедушка знаменитый художник, посмотри, какие красивые картинки, это он нарисовал.

– Вы их рассмотрите вместе, но только потом, а сейчас давай снимем пальто и сделаем пипи.

Марио неохотно позволил снять с себя пальто, но при этом упорно не выпускал из рук книжки. Он не отдал их даже тогда, когда Бетта силой потащила его в ванную. А я снова сел, ощущая некоторую неловкость: я не знал, о чем говорить с зятем. Сказал что-то про университет, про студентов, про трудности преподавательской работы (насколько я помнил, для него это была единственная важная тема, не считая футбола, – но тут уж я был совсем профаном). Однако Саверио не клюнул на эту наживку: к моему удивлению (ведь между нами не было доверительных отношений), он пусть и не очень гладко, но с искренней болью стал жаловаться на свои жизненные тяготы.

– Ни покоя, ни счастья, – бормотал он.

– Капелька счастья все же есть всегда.

– Нет, у меня только один сплошной негатив.

Но как только в комнату вошла Бетта, он прекратил эти излияния и завел разговор про университет. Похоже, муж и жена приходили в раздражение от одного вида друг друга. Моя дочь начала упрекать Саверио в том, что он оставил нечто (я так и не понял, что именно) в полном беспорядке, затем, указывая на Марио, который тем временем вернулся в комнату, крепко сжимая в руках мой подарок, сказала, обращаясь ко мне: «А в итоге вот этот, когда вырастет, станет хуже, чем его отец». Затем резким движением подхватила и унесла мой чемодан и сумку, но перед этим добавила с саркастическим смешком: «Готова поспорить: там нет ни рубашек, ни трусов, ни носков, зато есть все необходимое для работы».

Казалось, мальчик вздохнул свободнее, когда она скрылась в коридоре. Он положил одну книжку на стол, другую мне на колени, словно это был письменный стол, и стал медленно переворачивать страницу за страницей. Я погладил его по голове, а он, возможно осмелев от этой моей ласки, очень серьезно спросил:

– Правда, что это ты нарисовал тут все картинки, дедушка?

– Да, конечно, они тебе понравились?

Он задумался.

– Они немножко темные.

– Темные?

– Да. В следующий раз сделай их посветлее.

Саверио тут же вмешался:

– Какие же они темные, они именно такие, как надо.

– Они темные, – упрямо повторил Марио.

Я осторожно взял книжку у него из рук и внимательно рассмотрел несколько картинок. Никто еще не говорил мне, что они слишком темные. Я сказал Марио: «Нет, они не темные», и с ноткой обиды в голосе добавил: «Впрочем, если тебе они кажутся темными, значит, с ними что-то не так». Перелистал книгу, придирчиво вглядываясь в иллюстрации, обнаружил кое-какие огрехи, которых не замечал раньше, произнес вполголоса: «Наверно, это типография виновата». И огорчился – мне всегда было трудно примириться с тем, что чья-то небрежность испортила мою работу. Я несколько раз повторил, обращаясь к Саверио: «Да, Марио прав, они слишком темные». Затем, перемежая изъяснения недовольства техническими терминами, начал ругать издателей, которые на многое претендуют, мало тратят и в итоге все портят.

Марио вначале слушал, потом ему стало скучно, и он спросил, не хочу ли я посмотреть его игрушки. Но мои мысли были далеко, и я резко ответил «нет». Через секунду я понял, что не надо было отказывать вот так сразу: оба они, и отец, и сын, взглянули на меня с недоумением. И тогда я добавил: «Завтра, мой сладкий, сегодня дедушка устал».

3

В тот вечер мне окончательно стало ясно, что для Бетты и Саверио конгресс в Кальяри был прежде всего поводом для того, чтобы скрыться от глаз и ушей Марио и выяснять отношения без свидетелей. Если в течение дня мои дочь и зять лишь иногда обменивались фразами, похожими на условные сигналы, то за ужином они воздержались и от этого; разговор шел в основном обо мне и о Марио: ведь мальчик должен был узнать обо всех подвигах деда, а я – о его успехах. Оба говорили сюсюкающим тоном и почти каждую фразу начинали со слов «А знаешь, твой дедушка...» или «Покажи дедушке, как ты умеешь...». В итоге Марио довелось узнать, что я получил множество премий, что я более знаменитый художник, чем Пикассо, что важные люди выставляли у себя дома мои работы; а мне довелось узнать, что Марио умеет вежливо отвечать на телефонные звонки, писать свое имя, пользоваться пультом для телевизора, самостоятельно резать мясо настоящим ножом и без капризов съесть то, что положили ему на тарелку.

Казалось, этот вечер никогда не кончится. Мальчик неотрывно смотрел на меня, словно хотел выучить наизусть на случай, если я вдруг исчезну. Когда я сыграл с ним одну из тех старых шуток, которыми когда-то развлекал маленькую Бетту, – сжал вместе большой, указательный и средний пальцы и сделал вид, будто держу в них только что оторванный у него нос, – он слабо улыбнулся, то ли весело, то ли снисходительно, и стал молотить по воздуху ладошкой, словно желая наказать меня за эту глупую выдумку. Настало время ложиться спать, и он вдруг заявил: пойду спать, когда бабушка пойдет. Но родители в один голос сказали «нет», и у обоих это неожиданно прозвучало без всякой нежности. Бетта воскликнула: «Пойдешь спать, когда мама скажет!» – а Саверио сказал: «Пора ложиться» – и показал на стенные часы, как будто малыш мог определить по ним, который час. Марио попытался было протестовать, но смог добиться только одного: чтобы я смотрел, как он сам раздевается, как сам надевает пижаму, сам аккуратно выдавливает на щетку из тюбика зубную пасту и чистит зубы сколько положено, то есть очень долго.

А я восхищенно следил за этим представлением. Снова и снова повторял: «Какой ты молодец», а Бетта снова и снова просила меня: «Не надо, ты мне его избалуешь».

– Хотя, – сказала она вдруг совершенно серьезным тоном, – для своих лет он и правда много чего умеет. Сам увидишь.

В этот момент мама и сын объявили, что удаляются на чтение вечерней сказки. Я машинально последовал за ними в комнату, которая уже не была моей. Марио пока еще не умеет читать, но, подчеркнула Бетта, уже учится и делает успехи. Они захотели мне это продемонстрировать; и действительно, мальчик, хоть и не без маминой помощи, сумел прочитать несколько слов. А я тем временем с жадностью смотрел на приготовленную для меня раскладушку и думал, что и сам бы послушал вечернюю сказку, если бы мог лечь прямо сейчас. Однако, хоть Марио и просил меня остаться, Бетта не согласилась: «Мы тут немножко почитаем, папа, а потом все ляжем спать». В этих словах звучал явный приказ, адресованный как мальчику, так и мне.

Я нехотя вышел из комнаты и – где же тут выключатель – стал продвигаться по темному коридору. В последние годы, даже в моей миланской квартире, темнота действовала на меня гнетуще. Я зажигал свет повсюду, потому что после операции мне иногда стало казаться, что в темноте оживают неодушевленные

предметы, и возникало ощущение, что на меня надвигаются стулья, шкафы, стены, – я объяснял это проблемами с кровообращением и тем, что мой мозг недостаточно снабжается кислородом. В общем, я продвигался по коридору с осторожностью, костяшками пальцев дотрагиваясь до стен, но все же передо мной, словно молния, вдруг высветилась фигура отца, как всегда, сердитого, отбрасывающего обеими руками назад длинные пряди волос; мамы, которая из неряшливой золушки, мучимой приступами страха и меланхолии, иногда превращалась в изысканную даму в шляпке с вуалеткой; и бабушки, которая после инсульта всегда сидела молча, скукожившись, как говорят на диалекте о позе сгорбленного, скрюченного человека.

Единственным местом в квартире, где горел свет, была кухня. Я обнаружил там своего зятя, который был в отвратительном настроении, однако обрадовался, увидев меня, и указал мне на стул рядом с ним; но не успел я усесться, как он начал почти шепотом, едва слышно рассказывать мне, как у них с Беттой – после двух лет обручения, десяти лет совместной жизни и пяти лет в законном браке – вдруг все разладилось. Я, как мог, пытался сменить тему, дать понять, что не настроен его слушать. Но все без толку: он не реагировал на мои намеки, словно забыл, что перед ним не случайный собеседник, а отец его жены; было очевидно, что ему плохо, и он непременно должен кому-то излить душу. Он сказал мне, что недавно им назначили нового заведующего кафедрой математики, которого моя дочь знала еще со школьных времен, – и она сразу потеряла голову. Блестящий ученый, властная натура, он словно вдохнул в нее новые силы, и она каждый день старалась быть красивее и элегантнее, чем накануне. Короче говоря, университет для Бетты превратился в бассейн, наполненный густой жидкостью, на поверхности которой колыхалось ее хрупкое тело, с каждой минутой, как бы помимо собственной воли, все больше приближаясь к массивной фигуре шефа (по словам Саверио, плотного мужчины с толстыми ляжками и выпирающим животом), чтобы коснуться его, столкнуться с ним, а затем прижаться к нему, обвиться вокруг него и увлечь за собой на дно.

– И все это, – прошептал он, глядя на меня с набрякшими от горя глазами, – твоя дочь вытворяет прямо у меня перед носом.

Именно поэтому, как он объяснил мне (и повторил несколько раз), ситуация стала совершенно невыносимой. Бетта даже и не думала скрывать от мужа, как сильно ее влечет к новому начальнику, а между тем старалась словно бы невзначай встретиться с этим типом повсюду, в коридорах, в кабинетах, аудиториях, буфете, и ее не смущало, что Саверио в любой момент мог

оказаться где-то поблизости и увидеть их вместе. Она не утаивала от Саверио охвативших ее романтических чувств; каждое утро, собравшись на работу, спрашивала у него, хорошо ли она одета, привлекательно ли выглядит. Как-то раз начальник появился в сопровождении жены, которая при всех томно прижималась к нему; и охваченная ревностью Бетта не смогла сдержаться и прошептала, вернее, прошипела на ухо Саверио какое-то язвительное замечание. Не говоря уже о якобы дружеских поцелуях в щеку в начале и в конце рабочего дня, которые неминуемо должны были привести к поцелую в губы. И о навязчивом, агрессивном стремлении отстоять свою будто бы ущемленную независимость. Однажды Саверио вышел из себя, увлек ее в какой-то темный закоулок в факультетских коридорах и накричал на нее, объяснил, как она унижает его своим поведением, а она завизжала: «Что ты прицепился, что на тебя нашло, ты не в своем уме, я сама решаю, как мне себя вести!» – бросила его в коридоре и убежала в буфет, к своему неотразимому шефу, в котором я, если бы увидел его, наверняка усмотрел сходство с гоминидами, стоявшими на самой ранней ступени эволюции (мой зять особенно упирал на это).

Я не отвечал, давал ему выговориться. Действительно, не мог же я обратить его внимание на то, что заведующий кафедрой (если верить описанию) был удивительно похож на него самого. Не мог же я сказать ему, что Бетту явно привлекает определенный тип мужчины – невысокий, плотного телосложения и, как и он сам, – отнюдь не красавец. Я только попробовал в какой-то момент заметить: «Это всего лишь мимолетное увлечение, Саверио, оно пройдет, а то, что вас связывает, – долгая привычка жить вместе, глубокое чувство, – никуда не денется. Марио такой чудесный мальчик, нельзя допустить, чтобы он страдал из-за ваших ссор. Послушай меня, смотри на это сквозь пальцы». Ответ был мгновенным, как бросок кобры, и очень напугал меня. «Да, – сказал он, – эта блажь у нее пройдет, она успокоится, а вот я – я все видел и испытал отвращение, и я ее больше не люблю».

Мне хотелось бы подольше остановиться на этом моменте, выяснить, какая связь между тем, что он «видел» своим замутненным взглядом, и концом его любви к Бетте, но он услышал шаги жены в коридоре – и замолк на полуслове, как будто испугавшись. Моя дочь появилась на пороге в одной ночной рубашке и, обращаясь к мужу, повелительным тоном и с отвращением на лице сказала:

– Я готова, пойдем спать, папа устал. Пока я буду запираю дверь и опускать жалюзи, почисти зубы.

Саверио минуту-другую смотрел в пол, затем решительно встал и вышел, на ходу бросив мне едва слышное «спокойной ночи». Бетта дождалась, когда скрипнет дверь ванной, а потом очень тихо и взволнованно спросила:

– Что он тебе сказал?

– Что у вас с ним какая-то проблема.

– Проблема – это он.

– А я понял так, что это ты.

– Неправильно ты понял. Саверио видит то, чего нет.

– То есть у тебя нет интрижки с типом, который у вас на факультете чем-то там заведует?

– У меня? У меня? Да перестань ты, папа. Саверио просто невыносим.

– Однако ты прожила с ним двадцать лет.

– Я жила с ним потому, что в принципе он человек уравновешенный.

– А сейчас вышел из равновесия?

– Да, и по его вине то же самое происходит со мной, с Марио, с нашим домом, со всей нашей жизнью.

– Хочешь сказать, он настолько неуравновешенный, что видит, как ты целуешься с чужим человеком, а в действительности ничего такого не происходит?

На лице Бетты появилась недовольная гримаса, от которой она заметно подурнела.

– Он не чужой, папа, он мне как брат.

В этот момент глаза у нее наполнились слезами; это обстоятельство, а еще то, что я не особенно симпатизировал ее мужу, заставило меня поверить в ее искренность. Ну-ну, успокойся, сказал я, ты умница, у тебя все хорошо с работой, Марио такой чудесный малыш, поезжайте на конгресс, объяснитесь, и, когда вернетесь, все будет в порядке. Но даже если сейчас она кривила душой, я знал: она всегда будет любить мужа, всегда будет его поддерживать. Когда она была девочкой, я не мог спокойно смотреть, как она плачет; не мог и сейчас, хотя она уже стала взрослой. Если тебе так уж надо поплакать, прошептал я, плачь в мое отсутствие, когда я буду в Милане. Бет-та улыбнулась, я поцеловал ее в лоб, и она, шмыгнув носом, тихо сказала: «Давай я покажу тебе, как закрывать газовый кран» – и заставила меня при ней несколько раз закрыть и открыть его, чтобы я хорошенько запомнил, как это делается. Затем последовал подробный инструктаж: «ток отключается вот здесь», «поосторожнее с балконной дверью, она новая и плохо закрывается», «ключ, которым перекрывают воду, – под мойкой», «сток в душевой кабине иногда засоряется» и так далее, и тому подобное. Наконец она заметила, что я слушаю невнимательно, и сказала недовольным тоном: «Завтра я тебе все это напишу». Похоже, она засомневалась, что я справлюсь с ситуацией, в которую сама же меня и втянула: вдруг посмотрела мне в глаза и спросила: «А ты правда сможешь присмотреть за малышом?» Я клятвенно заверил ее, что смогу, и она поцеловала меня в щеку (чего не делала никогда, даже в детстве) и прошептала «спасибо».

Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла в дверях своей комнаты. Потом достал вещи из чемодана, стараясь не шуметь, и пошел в ванную. Там, готовясь ко сну (от усталости все мои движения были медленными и неловкими), я подвел итог первым часам, которые провел в Неаполе, и снова пожалел, что не остался в Милане. Ведь у меня не хватит сил присматривать за Марио, это совершенно ясно. Надо было честно и прямо сказать, что я еще не совсем выздоровел и не в состоянии взять на себя ответственность за ребенка, не в состоянии расхлебывать их супружеские неурядицы. Перебирая в памяти услышанное и увиденное за сегодняшний вечер, я никак не мог отделаться от ощущения – как бы это назвать? – непристойности происходящего. И мне стало казаться, что уклад жизни в этом доме страдает какой-то аномалией. Или что уклад правильный, но аномальна сама жизнь внутри него, словно под человеческой одеждой вместо человека скрывается ком затвердевшей смолы, или крокодил, или обезьянья парочка, или, хуже того, простое скопление микроорганизмов. Бетта, которая ластилась к своему коллеге, была непристойна; непристоен был ее муж, пытавшийся вклинить между нею и другим мужчиной – любовником, братом, или любовником, который как брат; непристойны были эти стены, ветер, дувший с моря, весь этот город. Спустя какое-то время после смерти моей жены

я заглянул в ее бумаги (я тоже вел себя непристойно) и почти сразу до меня дошло, что в те долгие, очень долгие годы, когда я был целиком поглощен постоянной, изматывающей борьбой за становление своей творческой индивидуальности, когда самым главным для меня было следовать своему призванию, а на остальное я обращал мало внимания, – в те годы она часто изменяла мне, и первая измена случилась всего через несколько лет после начала наших отношений. Почему? Она и сама этого не понимала, строила разные гипотезы. Возможно, чтобы вспомнить, что она живая. Чтобы поверить в собственную значительность – ей казалось, что главное место в нашей совместной жизни занимал я. Потому, что ее тело требовало к себе внимания. Или под влиянием бессознательного всплеска жизненной силы. За фасадом нашего благопристойного повседневного существования (подумав об этом, я сокрушенно вздохнул) прятался невоспитанный, проказливый чертенок, которого мы старались не замечать, неукротимая энергия, воспламеняющая плоть, регулярно побеждающая благонравие даже в самых благонравных созданиях. Я включил лампу на тумбочке, рядом с кроватью, затем выключил свет в ванной и в коридоре – там было три выключателя, первый я нажал наугад – и, как оказалось, попал в точку. И вот, наконец, с долгим приглушенным стоном улегся в постель, даже не взглянув на Марио, который спал в другом конце комнаты в своей кроватке, окруженной ворохом игрушек, у стены, сплошь увешанной его рисунками.

На улице по-прежнему завывал ветер, дождь хлестал по маленькому балкону, перила тряслись так, что шум разносился по всей комнате, несмотря на двойные рамы. Я лег – и в одно мгновение заснул, но спустя еще мгновение проснулся весь в поту, прерывисто дыша. У моей кровати стоял Марио в своей голубой пижамке. Он сказал: «Дедушка, ты забыл выключить свет, но я выключу его сам, не беспокойся». Он действительно выключил свет, и комната погрузилась во тьму и наполнилась шумом ветра. Меня охватил ужас, а Марио, не испытывая ни малейшего страха, прошмыгнул в свою кроватку.

4

Я проснулся с твердой уверенностью, что на часах – двадцать минут пятого, время, когда в Милане я просыпался окончательно. Дождь за окном все еще шел, вернее, налетал вместе с порывами ветра. Я включил лампу на тумбочке: часы показывали десять минут третьего. Встал, чтобы пойти в ванную, и, вылезая из-под теплого одеяла, почувствовал, как холодно в комнате, и вздрогнул. Вернувшись, я взглянул на Марио – он раскрылся во сне. Лежал на

животе, раскинув ноги, одна рука вытянута вдоль тела, другая согнута в локте, и сжатый кулачок почти касается полуоткрытого рта. Я тронул его ступни: они были холодными как лед. А вдруг он заболеет, пока родители в отъезде? Я натянул ему одеяло выше подбородка и присел на край своей раскладушки.

Тело у меня одеревенело, глаза слипались, но я не смог бы заснуть, даже если бы лег; я ощущал под кожей сильный жар, а сама кожа, как ни странно, казалась мне холодной; икры и пальцы на ногах тоже были холодными и вдобавок почти потеряли чувствительность. Я достал из чемодана рассказ Генри Джеймса и карандаши, чтобы сделать несколько набросков, потом залез под одеяло и прислонился спиной к стене. Я бегло просмотрел всю работу за последние недели, и мне ничего не понравилось; я даже пожалел, что перед отъездом поспешил отправить издателю две иллюстрации, не успев их толком доработать. Я еще раз перечитал несколько мест из книги, попробовал перенести на бумагу два-три сюжета, которые пришли мне в голову, но никак не мог сосредоточиться. Как будто ровное дыхание спящего Марио, шум ветра и дождя и даже вид самой этой комнаты (да и всей квартиры, где Бетта и Саверио за прожитые годы многое переделали на свой лад) не давали развернуться моей фантазии. Я закрыл книгу, и меня охватила полудремота, во время которой воспоминание о прежнем облике квартиры стало таким ярким, что могло бы затмить и саму реальность, и любые картины, созданные воображением. Я опять сел в кровати и стал зарисовывать места, где прошло мое детство. Нарисовал прихожую с окном, выходившим на площадку над грузовым причалом. Нарисовал гостиную, которой так гордилась моя мать, с только что купленной мебелью, диваном, креслами, пуфиками, всеми теми вещами, какие, по ее представлению, подобало иметь даме из высшего общества. Затем набросал ее портрет и сразу после (мне показалось, что я смогу это сделать) – эту же гостиную, увиденную ее глазами – просторную, светлую залу, столешницу из полированного дерева с волнистой каймой по краям, коробку для столового серебра с куполообразной крышей и четыремя миниатюрными шпильками, лоджию, откуда можно было разглядеть угол отеля «Терминус». Нарисовал коридор с телефоном на стене, родительскую спальню, маму и папу: она лежит в постели, а он в майке и трусах сидит на краю. А еще нарисовал чулан, набитый всяким старьем, огромную ванную, комнату, в которой сейчас находились я и Марио. В те годы она была вся уставлена кроватями, точно казарма; на одной спала бабушка, на других, валетом, спали мы, пятеро внуков. Позже в комнате стало просторнее, там остались только бабушка и трое младших внуков, тогда как старшие – я и мой брат – каждый вечер устраивались на ночь в гостиной, нанося удар по великосветским амбициям нашей матери.

Я работал как заведенный, давно уже мне не доводилось рисовать с такой скоростью и такой свободой. Нарисовал интерьеры, людей и вещи из моих воспоминаний, а на полях, вверху и внизу каждого наброска и еще на отдельных листах нарисовал отдельные детали, уйму деталей. В юные годы я мог похвастаться некоторыми способностями, со временем определившими мой жизненный путь; в средней школе учитель рисования с изумлением говорил: «Этот мальчик родился художником!» – но по мере того, как я выросл и совершенствовал свои познания в искусстве, мой стихийный дар, зоркий глаз, обостренная восприимчивость – все это стало казаться мне слишком грубым и примитивным. Я решил изменить творческую манеру, потом повторял это снова и снова, – и каждый раз выбирал все более сложный, изысканный стиль, то есть все больше отдалялся от прежней легкости и простоты, которые теперь находил вульгарными. Когда мне было двенадцать лет, окружающие смотрели на меня как на чудо, ослепительное и пугающее, да и сам я тоже считал себя таким; но уже к двадцати научился презирать быстроту моего карандаша, потому что считал ее недостатком. А сейчас я вдруг увидел себя, сначала двенадцатилетнего, потом двадцатилетнего, и попробовал зарисовать два портрета, возникшие в моем воображении. Но моя рука опять стала двигаться медленно и с трудом. Напрасно я старался это преодолеть, пальцы снова стали тяжелыми и слушались меня неохотно, словно бездушные автоматы. Я нацарапал на бумаге еще какие-то штрихи, слова, наброски: каким я был, кем я был, что произошло со мной в те восемь лет, за которые я из ребенка превратился во взрослого молодого человека. Около четырех утра я перестал рисовать. Как это глупо – вот так терять время. А главное, ради чего? Сбитый с толку этим неожиданным всплеском творческой активности, я снова взглянул на листы, сплошь покрытые рисунками. И среди этой мешанины мне сразу бросились в глаза две совершенно четко, даже слишком четко, прорисованные фигуры – Бетты и Саверио. Бетта у меня вышла настоящей красавицей: на моем наброске она сидела в нашей кухне шестидесятилетней давности, в позе, в которой часто сидела моя мать, а иногда и я тоже. Она похожа на тебя и твою родню, говаривала Ада, как будто не сама родила мне дочь, как будто и тут я исключил ее из своей жизни. А вот своего зятя (он получился удивительно похожим) я поместил на теперешнюю кухню (правда, с минимумом узнаваемых признаков), и выглядел он не очень-то привлекательно. (Я изобразил его мрачным чужаком, в котором не замечалось ни малейших достоинств, причем сделал это совершенно непреднамеренно.) Наконец я выключил свет, натянул одеяло на голову и заснул в такое время, когда в Милане обычно уже вставал.

Но проспал я недолго, около шести уже проснулся. Ветер утих, похоже, и дождя больше не было. Выйдя в коридор, я нажал не тот выключатель, и свет включился в нашей спальне. Я тут же выключил его, надеясь, что не разбудил малыша, и пошел в ванную бриться и умываться.

Вот было бы хорошо, если бы от произведенного мной шума проснулись они оба, или хотя бы одна Бетта, подумал я; но, когда я вышел из ванной, в квартире была полная тишина. Я прошел на кухню, не без труда отыскал ковшик, в котором можно было вскипятить воду, но чая так и не обнаружил. Вот плита – и что дальше? Где тут спички или зажигалка? Я растерянно оглядывался кругом, и вдруг рядом со мной появился Марио, еще не вполне проснувшийся, судя по лицу.

– Привет, дедушка.

– Это я тебя разбудил?

– Да.

– Извини.

– Ничего страшного. Можно я тебя поцелую?

– Можно.

Я отметил, что у него хватило рассудительности надеть поверх пижамы оранжевую вязаную кофту, а на ноги – тапки того же цвета. Я похвалил его за это и наклонился, чтобы он мог поцеловать меня, а я – его.

– Можно я тебя щелкну? – спросил он.

– Давай.

Он сильно щелкнул меня по щеке, а затем спросил церемонным тоном Саверио, не нужно ли мне чего-нибудь.

– Знаешь, как газ зажигать? – спросил я.

Он кивнул. И первым делом напомнил мне, что тут есть ручка, которую надо повернуть, и, хотя было ясно, что я ее уже поворачивал, он все же захотел показать мне, как это делается: «Смотри, когда вот так – газ не идет, а если повернуть – пойдет». Затем подтащил ко мне стул, заранее предупредив, что шума при этом не будет: «Папа наклеил снизу на ножки всех стульев фетровые квадратики». Ловко взобравшись на стул, он начал объяснять мне смысл значков на ручках конфорок, как прибавлять и убавлять газ. Но больше всего меня удивило – и встревожило – то, что он умеет зажигать конфорки самостоятельно. Вот он нажал на ручку, потом повернул ее, выждал несколько секунд, и отпустил.

– Видел? – спросил он довольным тоном.

– Да, только воду поставлю греть я.

– Мы не будем готовить завтрак на всех?

– Но я ведь не знаю, что ты ешь на завтрак, что ест мама и что ест папа.

– А я знаю. Мама и папа пьют кофе с молоком, а я – только молоко.

– А еще?

– А еще надо поджарить хлеб для мамы – мы с папой едим сухарики – и выжать для всех апельсиновый сок. Хочешь соку?

– Нет.

– Он вкусный.

– Все равно не хочу.

Теперь он начал показывать мне, где лежат апельсины, где стоит соковыжималка, как сделать так, чтобы тосты не подгорели (тогда от них плохо пахнет, а папа не выносит этого запаха), в каком шкафчике пакетики с черным и зеленым чаем, за какой дверцей кофеварка и где чайник, потому что ковшик,

который я нашел, не годится, и где найти подставки под тарелки. Как много он говорит сегодня утром, и какая у него правильная речь, думал я. В какой-то момент он озабоченно спросил:

– Ты проверил, молоко не просроченное?

– Нет, не проверил, но если оно стоит в холодильнике, то в любом случае не могло испортиться.

– Все равно ты должен проверить, а то мама часто отвлекается и забывает посмотреть.

– Проверь сам, – сказал я, решив подшутить над ним.

Он смущенно улыбнулся, взмахнул рукой в воздухе, как уже делал вчера, и неохотно признался:

– Я не умею.

– Значит, все-таки есть что-то, чего ты не умеешь.

– Но я знаю, что надо налить немного молока в ковшик, включить газ и посмотреть, коагулировало оно или нет.

– Коагулировало? Что значит «коагулировало»?

Он опустил глаза, покраснел, потом снова посмотрел на меня со смущенной улыбкой. Он занервничал, ему невыносима была мысль о том, что он не произвел должного впечатления. Я сказал ему: «Прыгай», взял за руку и заставил прыгнуть со стула. Затем, желая убедить его, что он не упал в моих глазах, спросил: «А что еще мы с тобой должны сделать?» Я был в изумлении (не знаю, правда, радостном ли – возможно, и нет) от его богатейшего словарного запаса, от того, как он умеет управляться с вещами, которые его окружают. Сам я, насколько помню и судя по рассказам мамы и бабушки, был неразговорчивым и рассеянным ребенком. Воображение у меня было сильнее чувства реальности; даже став взрослым, я не приучился активно участвовать в повседневной жизни; как мне казалось, единственное, что я умел, – это рисовать, писать красками,

комбинировать красящие вещества всех типов. За пределами этой области я был тупица, у меня была никудышная память, мне редко когда удавалось придать моим желаниям явственную, осязаемую форму, я небрежно относился к обязанностям гражданской жизни и всегда полагался в этом на других, чаще всего на Аду. А этот мальчик в свои четыре с небольшим года оказывал такое же напряженное внимание к окружающему миру, как индейцы, которые способны были изучить сложную технику ювелиров, прибывших в Америку с конкистадорами, при помощи одной лишь наблюдательности. Он продолжал давать мне указания. Повинуясь ему, я накрыл стол на кухне. Затем последовали инструкции насчет кофе: Бетта пила без кофеина, Саверио – обычный. Так мы вдвоем загрузили кофеварки, вдвоем пустили в ход соковыжималку, причем он несколько раз упрекал меня за то, что я выбрасываю половинки апельсинов, в которых еще осталась мякоть. «Вдвоем» означает, что, даже когда надо было выполнить какое-то действие, для которого ему не хватало силы или ловкости, он настаивал на том, чтобы положить свои руки поверх моих, а если я хотел обойтись без его участия, сразу мрачнел.

– Кто научил тебя всему этому? Мама?

– Папа. Он ничего не делает один, я всегда должен помогать ему.

– А мама?

– Мама нервничает, кричит и торопится.

– Папа сказал, что тебе нельзя зажигать газ?

– Почему?

– Потому что ты обожжешься.

– Если человек знает, что может обжечься, он будет осторожным и не обожжется.

– Даже если быть осторожным, все равно можно обжечься. Обещай, что, пока мы с тобой будем тут жить вместе, ты не будешь зажигать газ, когда меня нет рядом.

– А когда ты будешь рядом, я не обожгусь?

– Нет.

– А если ты обожжешься?

Он хотел успокоить меня, объяснить, что надо делать при ожоге. В ванной, сказал он, есть коробочка с красным крестом на крышке. Там лежит крем, который он хорошо знает, потому что папа мазал его этим кремом, когда он обжигался, и ожог переставал болеть.

– Крем не липкий, – заверил он меня, и как раз в этот момент, когда мне уже стало невмочь, – я согласен был развлекать его, но устал слушать эти бесконечные инструкции по применению, – пришла Бетта. Я облегченно вздохнул. «Боже мой!» – воскликнула она, изображая восторг при виде накрытого стола.

– Это мы с дедушкой все приготовили.

Она похвалила его, взяла на руки, несколько раз поцеловала в шею, и он засмеялся от щекотки.

– Хорошо с дедушкой, правда?

– Да.

Бетта повернулась ко мне:

– А тебе хорошо с Марио, папа?

– Очень хорошо.

– Как замечательно, что ты все же решился приехать.

Тем временем появился Саверио, и мальчик сразу же зажег газ (никто не обратил на это внимания) под обеими кофеварками, с обыкновенным кофе и с

кофе без кофеина. А я бросил в чайник с кипятком два пакетика чая и, наконец, сел за завтрак, такой непохожий на мой привычный завтрак в Милане, одинокий и скудный. Во время еды не было ни секунды тишины: родители – хоть и казались еще более враждебно настроенными друг к другу, чем накануне, вели оживленную беседу с сыном, как будто нарочно заставляя его болтать без умолку. Но когда все поели, Бетта сразу объявила, что ей надо бежать – у нее сегодня уйма дел, и к тому же (это было сказано жалобным тоном) она еще не успела уложить вещи, решить, что она наденет в Кальяри, а завтра ей придется встать в четыре утра, потому что самолет в девять. Но, сказала она еще, я приготовила для тебя список того, что необходимо сделать в наше отсутствие, и, пожалуйста, папа, не забудь в него заглядывать. И вышла, таща за собой Марио, которому пора было умываться и одеваться, чтобы пойти в детский сад, а он все время повторял: «Не хочу идти в садик, хочу быть с дедушкой».

Я осторожно осведомился у Саверио:

– Мне придется в эти дни водить его в детский сад?

– Спроси у Бетты, она мне ничего не говорила.

– Может, тебе надо больше доверять ей, ты слишком подозрительный, это ее ожесточает.

– А как не быть подозрительным, если она так себя ведет? Знаешь, куда она собирается сегодня?

– Не знаю. Куда?

– Читать шефу свое сообщение на конгрессе.

– А что тут плохого?

– Ничего. Только объясни мне, почему он не позвал и меня тоже и не попросил почитать мой доклад?

– По-видимому, потому, что Бетта с ним дружит со школы, а ты – нет.

– Так это он по дружбе поставил сообщение Бет-ты на одно из первых мест в программе, а мой доклад отодвинул на второй день?

Я непонимающе взглянул на него:

– Ваш заведующий кафедрой имеет какое-то отношение к конгрессу в Кальяри?

– Еще бы! Он его организатор.

– И он едет туда с вами?

– А ты еще этого не понял?

Я не успел ответить. Из ванной послышался сердитый голос Бетты, она звала мужа.

– Сегодня твоя очередь вести Марио в садик! – раздраженно крикнула она и быстро, чуть ли не бегом промчалась по коридору, оставляя после себя запах духов. – Не делай вид, что забыл!

Саверио вскочил с места и посмотрел ей вслед, взгляд у него был безумный. Бетта говорила, что ее муж – видный математик, но сейчас мне не верилось, что человек в здравом уме, ученый, может вести себя так грубо. Даже если Бетта, предположим, и питает некоторую симпатию к этому заведующему кафедрой, подумал я, неужели Саверио настолько глуп, чтобы вообразить, будто он в силах помешать этой симпатии перерасти в нечто большее? Сексуальное наслаждение, окончательно отделившись от размножения, при котором изначально играло лишь роль стимула, теперь зажило самостоятельной жизнью и требует свое в любом месте на планете, в любое время года, и контролировать его невозможно; то, что должно произойти, неминуемо произойдет, неистовство плоти безжалостно уничтожит все и вся – жен, мужей, сыновей, нежные привязанности, с трудом скопленные деньги. На кухню снова зашла Бетта. В половине девятого утра она была одета и накрашена так, словно собиралась на дискотеку. Она подтолкнула ко мне Марио. Мальчик тоже был тщательно одет и причесан, явно для детского сада.

– Дедушка, – обратилась ко мне моя дочь, – скажи Марио, что сегодня он должен пойти в садик.

Я произнес строгим голосом:

– Марио, не капризничай, тебе надо в садик.

– Я хочу быть с тобой.

– Мало ли что ты хочешь, – выдохнула Бетта. – С этой минуты будешь делать то, что скажет дедушка.

Она поцеловала сына в голову, сказала мне «пока!» и исчезла. А мальчик, пристально глядя на меня, повторил:

– Не пойду в садик.

6

Марио все еще упорствовал, пытался уловить в моем взгляде сочувствие, но я не поддержал его. А Саверио не сказал ему ни да, ни нет, просто взял за руку и потянул в коридор, к двери, они уже сильно опаздывали. «Дедушка, – сказал расстроенный малыш, перед тем как зайти в лифт, – никуда не уходи, подожди меня». Я кивнул и закрыл входную дверь с чувством облегчения.

Нехотя прогулялся по пустой квартире, мысленно сравнивая зарисовки, сделанные ночью, по памяти, с теперешним видом тех же помещений. От большой гостиной давно уже осталась половина; во второй половине был устроен кабинет, стоял ультрасовременный письменный стол, а стены закрывали высокие, до потолка, книжные стеллажи. В прихожей тоже были кое-какие переделки. Когда я приехал, то не обратил на это внимания, а сейчас заметил, что там появилась перегородка с новенькой, недавно установленной дверью. Я открыл ее, вошел и оказался в тесной каморке, также заполненной книгами, но со старомодным письменным столом, и пропитанной неожиданными для такого места запахами чеснока, лука и стирального порошка. Я распахнул окно, выходившее на площадку, которая, как я обнаружил, тоже подверглась переделке. Теперь это была веранда, где моя дочь держала всякую дребедень,

нужную ей на кухне, – запах чеснока, лука и стирального порошка исходил именно отсюда. Я не сомневался, что просторный кабинет занимала Бетта, а в этом крошечном закутке работал Саверио.

Я вернулся в коридор, сунул нос в спальню. Там был кавардак, на незастеленной кровати лежали похожие на увядшие очистки фруктов платья моей дочери; очевидно, она примеряла и забраковывала их, прежде чем выбрать то единственное, в котором, по ее мнению, выглядела лучше всего. В те годы, когда эта комната была спальней моих родителей, она казалась мне огромной, но сейчас, когда Бетта поставила здесь два больших платяных шкафа, прежде обитавшие на чердаке, и двуспальную кровать такого размера, что каждому из лежавших в ней должно было казаться, будто он спит один, – сейчас комната словно съежилась и стала заметно меньше.

Я огляделся вокруг, полистал книги, лежавшие на тумбочках, вышел на лоджию. И тут же ощутил хорошо мне знакомый шум города. Ветер стих, небо было черным и неподвижным, дождь перестал. Я узнал длинный ряд старых домов, тянувшийся от площади Гарибальди, несколько минут следил за потоком прохожих на тротуаре внизу, за вереницей машин, направлявшихся в сторону улицы Марина. А когда заметил, что, неосторожно опираясь локтями на мокрые перила, намочил рукава джемпера, вернулся в дом.

Этого беглого осмотра было достаточно, чтобы сделать вывод: если не считать гостиной, где висела моя картина с красно-синими овалами, большая часть крупных и малых работ, которые я годами дарил дочери, в квартире не выставлены – наверно, дочь и зять куда-то их запрятали. Саверио всегда притворялся, говоря, будто он высокого мнения о моем творчестве, а Бетта даже и не пыталась поверить в меня как в художника. Впрочем, вера – штука непостоянная, она приходит и уходит. В последнее время никто уже не ценил меня, как прежде, слишком многое изменилось. Ладно, сказал я себе, в конце концов, это не так уж важно, главное, что я продолжаю работать. Прогнав невеселые мысли, я решил выйти пройтись, пока есть возможность, ведь с завтрашнего дня я буду сидеть с малышом, и о прогулках придется забыть. И я вернулся в комнату Марио, где еще было темно. Надел пальто, шляпу, проверил, взял ли бумажник, а главное, ключи Бетты, которые она вручила мне, заставив поклясться, что я не забуду их дома. Тут мне захотелось взглянуть на балкон, который я пропустил, когда осматривал квартиру; и я отодвинул задвижку балконной двери.

Моя мать панически боялась балкона, всякий раз, когда надо было выглянуть оттуда, делала это с большой осторожностью и запрещала моим младшим братьям выходить на балкон без взрослых. Стеклопанная дверь, которую я открыл сейчас, явно была установлена совсем недавно. Все балконы на этой стороне дома, в том числе и наш, были странной трапециевидной формы – к дальнему концу они сужались. Наш был на последнем, седьмом этаже, и, возможно, именно поэтому мама, которая вообще не страдала головокружением, плохо переносила это сужающееся к краю пространство, она говорила, что, когда смотрит на него снизу, ей становится плохо. Когда надо было что-то выставить на балкон или достать оттуда, она звала моего папу, а если папы не было дома или он был не в духе, звала старшего сына, то есть меня. Я брал у нее из рук то, что надо было вынести, но, чтобы подразнить ее, перемахивал на дальний край балкона и начинал там прыгать, так, что дрожали основание балкона и перила, и смотрел, как мама, стоящая в дверном проеме, смеется и ужасается одновременно.

Мне нравилась эта видимость риска. Когда я был совсем маленький, то нередко, особенно весной, выходил на балкон, садился на пол и читал, писал или рисовал. Помню, каким громадным казалось небо, окружавшее меня; а еще я видел оттуда строящееся здание вокзала. Там, над пустотой, я чувствовал себя кем-то вроде стража на башне или часового на верхушке столетнего дерева, который должен высмотреть что-то вдалеке. Но сегодня утром, выглянув на балкон, я не ощутил прежнего удовольствия, более того, мне показалось, что я понял опасения моей матери. Он выглядел как узкая длинная доска, нависшая над серой массой асфальта; у того, кто отважился бы выйти на него, возникло бы впечатление, что он ступил на уцелевший фрагмент обвалившейся конструкции, который вот-вот отделится от здания и, в свою очередь, рухнет вниз. Возможно, подумал я, это ощущение торчащего обломка вызвано трапециевидной формой балкона; идеальная прямая, вычерченная порогом балконной двери, кажется безмерно далекой от другой, параллельной ей прямой, рассекающей пустоту; или, что более вероятно, причина такой странной реакции – это мое теперешнее болезненное состояние, старость, сделавшая меня мнительным, неуверенным в себе. Понятное дело, я предусмотрительно остановился на пороге, в пальто, со шляпой в руке, и смотрел на небо, на перила, с которых падали редкие капли дождя, и на пластиковое ведро, откуда торчала какая-то игрушка и к ручке которого была привязана веревочка.

– У тебя мобильник звонит, – женский голос, вдруг раздавшийся сзади, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся, ожидая увидеть призрак бабушки, мамы, Ады, но голос добавил: – Извини, я – Салли.

Это была уборщица. Она протягивала мне жужжащий мобильник, который я, по-видимому, забыл на кухне. Женщина лет шестидесяти с небольшим, полнолицая, веселая, большеглазая. Она рассыпалась в извинениях: у нее были свои ключи, и она вошла в квартиру, как обычно входила по утрам, не подумав, что может испугать меня.

– Я не испугался, просто удивился, – уточнил я.

– Испуг, удивление – это одно и то же.

– Нет, это не одно и то же.

Я взял у нее телефон, который все еще жужжал. Это был издатель. Как бы между прочим он сообщил:

– Я получил две иллюстрации.

Мне захотелось спровоцировать его на похвалу:

– Хорошо вышли, правда?

На несколько секунд наступило молчание. Я давно привык получать комплименты за все, что бы я ни делал. А состарившись, стал считать их простой формальностью, ведь казалось совершенно невозможным, чтобы кто-то прямо сказал мне: «Нет, эта ваша работа никуда не годится». Но в данном случае я не учел, что мой собеседник – тридцатилетний парень, лопающийся от денег и одержимый страстью к новаторству. Наконец он заговорил:

– Это не то, чего я ожидал.

– Ну, так рассмотрите повнимательнее, – попытался я отшутиться.

– Я рассмотрел внимательно, и нам с вами еще придется над ними поработать.

У меня все оледенело внутри. Я хотел было возразить, но мне показалось нелепым утверждать, будто мои иллюстрации – шедевр, я и сам так не считал.

Поэтому я дал ему высказаться. И он говорил долго, говорил о блеске – по его мнению, это слово обозначало качество, необходимое для роскошного издания, как он его понимал. Я постарался вникнуть, что именно его не устраивает. Кажется, речь шла о цвете. Но когда я попросил его объяснить поточнее, оказалось, что моим иллюстрациям недостает блеска – это можно сравнить с нехваткой кислорода.

– Не обижайтесь, – сказал он, – но, когда недостает кислорода, невозможно генерировать ни энергию, ни знание.

Я решил выбрать покровительственно-иронический тон:

– Если вы хотите, чтобы я добавил им кислорода, я попробую это сделать.

Он обиделся:

– Вот именно, добавьте им кислорода. Может, вам это выражение кажется смешным, но я считаю его серьезным и уместным. Когда вы закончите работу над остальными иллюстрациями?

– Скоро, – солгал я.

Но это его не успокоило. Он заявил, что выпуск роскошного издания – дело, требующее огромных усилий, что он привлек к сотрудничеству многих выдающихся специалистов и ему надо как можно скорее получить иллюстрации. Он был молод и считал, что агрессивный тон сделает его слова более вескими и убедительными. Только в этот момент я заметил, что ладони у меня как огонь, а спина потная. Картинки не понравились издателю, это была большая неприятность. Но то, что издатель выразил свое мнение так откровенно, было еще неприятнее. Положив телефон в карман, я почувствовал, что у меня начинается приступ головной боли. Мне не понравилось, что Салли сняла туфлю, сидя на моей кровати, и она заметила это.

– Они новые, жмут, – объяснила она, мгновенно надела туфлю и встала с кровати.

– Пойду пройдуся, – сказал я.

– Хорошо. Ты доволен внуком?

– Да.

– Ты нечасто приезжаешь.

– Когда могу.

– Марио чудесный малыш, но иногда приходится его ругать. Посмотри, какой тут беспорядок, он даже игрушки не убрал, они валяются уже несколько дней.

Спросив у меня разрешения, Салли вышла на балкон. Она была маленькая, но грузная, и я чуть не сказал ей: не ходи туда. Но она явно не испытывала таких опасений, как я. Балкон трясся у нее под ногами, но она дошла до ведерка, достала игрушки, а оставшуюся на дне дождевую воду выплеснула через перила.

– Они заставляют его играть на балконе, даже когда холодно, – пожаловалась она мне.

– Это закаляет.

– А ты шутник, это хорошо. Дедам надо шутить, надо уметь смешить. Но иногда им надо и беспокоиться.

Я ответил, что беспокоюсь главным образом из-за того, что мне придется несколько дней провести вдвоем с Марио, а у меня много работы.

– В какое время вы здесь бываете? – спросил я.

– С девяти до двенадцати. Но послезавтра я не приду.

– Не придете?

– Мне надо кое с кем встретиться, это важно.

– А моя дочь в курсе?

– Конечно, в курсе. Что тебе приготовить?

– Придумайте сами.

Сначала невоспитанный работодатель испортил мне настроение, а теперь я еще и разозлился на Бетту. Она ведь сказала – во всяком случае, так я ее понял, – что Салли будет приходить каждый день. Оказалось, нет. Я закрыл балконную дверь, мне было холодно даже в пальто. Кто-то позвонил в домофон. Длинные, частые, требовательные звонки.

7

Это был Саверио. Салли, ничего мне не объясняя, побежала вниз и вскоре вернулась вместе с Марио. Ребенок сиял от радости.

– Папа привез меня домой, – сообщил он.

– Как так?

– Воспитательница заболела.

– А другой воспитательницы не нашлось?

– Я не хочу быть с другой воспитательницей, хочу быть с тобой.

– Как тебе удалось уговорить папу?

– Я заплакал.

Я спросил Салли, можно ли на часок оставить мальчика с ней, у меня проблема по работе, и мне надо подумать. Салли ответила, что времени у нее в обрез, а квартира большая, и она была бы очень довольна, если бы мы вдвоем с Марио, дед с внуком, пошли прогуляться до обеда. Мне на это было нечего возразить. И я сказал Марио: «Сними рюкзак и пойдем гулять». Малыш был в восторге, а

Салли сказала:

– Сначала иди сделай пипи, Марио, перед тем как выйти на улицу, всегда надо делать пипи, правда, дедушка?

Мы вышли на улицу, дул ледяной ветер. Я поднял воротник, поглубже надвинул шляпу, плотнее замотал шарфом шею мальчика. И наконец, произнес четко и отдельно, чтобы он ощутил мою непреклонность:

– Марио, имей в виду, я не стану брать тебя на ручки.

– Ладно.

– И ты никогда, что бы ни случилось, не должен отпускать мою руку.

– Понял.

– Чем бы ты хотел заняться?

– Пойдем в новое метро.

И мы повернули к площади Гарибальди, но, когда прошли несколько шагов, идея Марио мне разонравилась. По площади сновало множество людей, расхаживали торговцы, предлагавшие всякую всячину, слонялись бездельники, ездили машины и автобусы. А в метро валила толпа, и я подумал, что не смогу ввинтиться туда, мне не хватит воздуха. И я решил повернуть назад.

– Дедушка, метро вон там.

– Давай я покажу тебе улицу, по которой ходил в школу.

– Ты же сказал, что мы поедem на метро.

– Это ты сказал, а не я.

Я хотел хорошенько пройтись, чтобы забыть голос издателя. Но забыть его оказалось нелегко. Восстанавливая в памяти весь разговор, я пытался найти в нем что-то позитивное. Теперь, говорил я себе, когда известно, что две первые картинки ему не понравились, можно будет сменить курс, причем без особых проблем, поскольку работа еще в самом начале. Но тут же возразил: «Сменить курс?» А на какой именно? Возможно, эти иллюстрации у меня и в самом деле не получились. Возможно, низкий гемоглобин, ферритин и незапланированная поездка не позволили мне в этот раз показать лучшее, на что я способен. Но почему такое неуважение? Эти две картинки – часть моей истории, часть того, что я собой представляю, того, чем я занимался десятилетиями, причем вполне успешно. Если этот наглый сопляк заказал мне работу, если он сказал «проиллюстрируй мне Генри Джеймса», то он сделал это ради моего имени, ради всего, что я создал и придумал за мою долгую жизнь. Так чего он теперь хочет? А с другой стороны, что я имел в виду, когда говорил «сменить курс»? Курс мог быть только один, тот, которым я следовал с двадцати до семидесяти пяти лет. Те две иллюстрации, конечно, можно было доработать, но ведь они были результатом следования этому курсу, и доработать их можно было только при продолжении этого курса, следуя которым я создал многие десятки работ, снискавших всеобщее одобрение.

Расстроенный, я сунул руки в карманы и, понурившись, зашагал к улице Марина. Но Марио схватил меня за рукав:

– Дедушка, ты выпустил мою руку.

– Верно, извини.

– Эта улица некрасивая, мы с папой никогда по ней не ходим.

– Вот и хорошо, сможешь увидеть новые места.

Это был район моего детства, переулки, узкие улочки, маленькие площади, ведущие к людным, бурлящим жизнью кварталам Форчелла, Дукеска, Лавинайо, Кармине, и дальше, к порту, к морю, а над всем этим обширным пространством, сливаясь в общий гомон, раздавались голоса – болтовня прохожих, крики из окон, обмен любезностями у дверей магазинов – голоса нежные и резкие, вежливые и грубые, и эти звуки были как мост, соединявший две эпохи, теперешнюю, когда я, старик, вел по улице внука, и прежнюю, когда я был

мальчишкой. Саверио – я это знал, хотя он ни разу не заговаривал со мной об этом, – давно уже хотел переехать отсюда, уговаривал Бетту продать квартиру и купить другую в районе, который бы соответствовал их статусу университетских преподавателей. Я сказал дочери, что она может продать квартиру, как и когда сочтет нужным, ведь я уже много лет не принадлежал этим улицам, этому городу. Но она была очень привязана к Неаполю и, в отличие от меня, ей была очень дорога эта квартира, или, если точнее, память о матери.

– Здесь, – сказал я малышу, показывая на опущенную железную ставню, сплошь покрытую непристойными надписями и рисунками, – здесь, когда я был маленьким, – жила одна толстая, прямо-таки громадная женщина, которая пекла витушки. Знаешь, что такое витушки?

– Крендельки с сахаром.

– Правильно. Иногда я покупал себе витушку и съедал ее, усевшись на этих ступеньках.

– Ты был маленький, как я?

– Мне было двенадцать.

– Тогда ты был уже большой.

– Ну, не знаю.

– Так и есть, дедушка, ты был большой: это я маленький.

Мы шли уже довольно-таки долго. Направились к церкви Святой Анны, потом к Порта Нолана. В начале прогулки Марио пытался остановиться у каждой лавчонки с разной китайской дребеденью, у каждого припаркованного мотоцикла или мопеда, чтобы рассмотреть их и продемонстрировать мне свои познания. Но поскольку я не останавливался, а тянул его дальше, он в конце концов стал послушно шагать за мной и почти все время молчал. А вот я время от времени что-то говорил ему, но только для того, чтобы напомнить себе: он здесь, я держу его за руку. Мои мысли были заняты другим, я снова и снова перебирал в памяти слова издателя, и, поскольку с каждым разом находил в них

все меньше позитивного, мое изначальное раздражение превратилось в бешенство. В школе учителя не одобряли это выражение. Не надо так говорить, объясняли они, бешенство бывает у собаки, а у человека бывает гнев. Но в Неаполе, в кварталах Васто, Пендино, Меркато, где я вырос, а до меня выросли мой отец, мои деды и прадеды, возможно, даже и все мои предки, никто не говорил «гнев» – это было книжное слово, оно ассоциировалось с Ахиллом и другими литературными героями, – все говорили «бешенство». Те, кто заполнял эти улицы, площади и портовые причалы, люди тяжелого труда и мастера темных делишек, никогда не гневались, они впадали в бешенство. Это случалось с ними дома, или на улице, особенно когда они бродили по городу в поисках денег и не находили их.

Порой они едва не лезли в драку с другими бешеными. И что надо было говорить им во время этих приступов бешенства? «Ты в гневе?» – «Вы в гневе?» – «Они в гневе?» Не смешите меня. Язык, которому хотели научить нас в школе, на наших улицах был никому не нужен. Это был собачий город, и слово «гнев» не имело ничего общего с моими налитыми кровью глазами, когда я шагал по ближним улицам, например по этой, ведущей к проспекту Гарибальди. Когда я выходил из школы и ноги не несли меня домой, потому что глумливые одноклассники и садисты-учителя довели меня до самого настоящего бешенства, оно разрывало мне грудь, от него чуть не лопалась голова, и, чтобы успокоиться, я делал большой круг, спускался до Porta Nolana, иногда сворачивал на улицу Сан-Космо, а если кровь не переставала стучать в висках, шагал по кварталу Лавинайо, кварталу Кармине – одинокий и нелюдимый, пересекал равнодушные пространства, выходил к порту. Но если только кому-то случалось по рассеянности толкнуть меня, я начинал проклинать всех святых и мадонн, и это был не гнев, это было бешенство, я смеялся, изрыгая кощунственную брань, плевался, раздавал тумачи, надеясь, что кто-то даст мне сдачи. Сегодня никто из знающих меня не смог бы даже представить себе такое, но это чистая правда. Вот было бы хорошо, сказал я себе, вернуться сейчас в Милан тем мальчишкой, каким я был шестьдесят лет назад, направиться напрямик на проспект Генуи, где находится издательство, подняться на четвертый этаж и без всяких предисловий плюнуть в лицо самовлюбленному недорослю, который раскритиковал мою работу, – нет, не только эти две иллюстрации, но труд всей моей жизни. Жаль, что эпоха бешенства прошла, за минувшие годы я задушил его в себе.

– Ты знаешь, что такое бешенство? – спросил я у Марио.

- Так нельзя говорить, дедушка.
- А кто так говорит? Папа?
- Нет, мама.
- Ну ладно, ты и в самом деле не должен так говорить.
- Можно тебе сказать одну вещь?
- Все, что хочешь.
- У меня в горле пересохло.
- Устал?
- Да, очень.
- А что надо сделать, если ты устал и горло пересохло?
- Скажи сам.
- Выпить сок?

Мы зашли в первый же бар, который попался нам на пути; там не было света, ни дневного, ни электрического. Маленькое помещение, где пахло не кофе или сладостями, а застарелой грязью и табачным дымом. Когда глаза привыкли к полутьме, я огляделся, ища хотя бы пару стульев, но увидел только маленький круглый металлический столик в нескольких сантиметрах от стойки, за которой стоял тощий бармен лет сорока с большими залысинами и убирал стаканы. Я сказал ему: «Дайте нам фруктовый сок и чашку кофе, но сначала нам надо сесть, мы устали», – и показал на столик без стульев. Бармен оживился: «Титти, принеси два стула для синьора!» Из задней комнаты появилась девочка-подросток с двумя стульями из пластика и металла. Я сразу опустился на один из них, Марио вскарабкался на другой. Девочка сказала: «А вы бледный», – и подала стакан воды. Я отпил глоток и поблагодарил ее.

– Какой сок ты хочешь? – спросил я у Марио.

Он серьезно задумался, а затем сказал:

– Яблочный.

– Какой милашечка! – воскликнула девочка.

Бармен и девочка говорили на неаполитанском диалекте. Этот язык был моей неотъемлемой частью – и в то же время представлял собой набор странных, чуждых звуков. Ко мне обращались благожелательным, почти слащавым тоном, но это не могло изменить исконного звучания слов – резкого, угрожающего. Только в этом городе, подумал я, люди могут помочь тебе с такой нерассуждающей готовностью и в то же время способны сию минуту перерезать тебе горло. А я сейчас уже разучился быть агрессивным и любезным на неаполитанский манер. Наверно, мои клетки исторгли частицы былой ярости, чтобы захоронить их, как токсичные отходы, в потайных местах, и в какой-то момент во мне возобладала другая любезность, холодная и церемонная, совсем не похожая на искреннее дружелюбие этого мужчины, который мгновенно приготовил мне кофе, и девочки, которая подала мне его на подносе вместе с соком для Марио, словно между столиком и стойкой было большое расстояние, и я не смог бы сам, протянув руку, взять чашку с блюдцем, а потом стакан.

– Дедушка.

– Да?

– Тут нет соломинки.

Девочка снова ушла в заднюю комнату (я представлял ее себе мрачным подвалом, вырытым под зданием) и тут же вернулась с соломинкой. Марио начал тянуть через нее сок, а я – пить кофе. Он оказался хорошим, и мне, впервые за долгие годы, захотелось курить. От этого внезапно вспыхнувшего желания я стал лучше видеть и разглядел над стойкой полку, уставленную пачками сигарет. Здесь продавался табак. Я попросил пачку «MS» и коробок спичек. Бармен дал их девочке, а она передала мне.

Кінець ознайомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.com/starnone_domeniko/shutka

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)